

Борис Наумов

А почему бы и нет

Жизнь интересна в своём непрерывном течении, но, ещё более интересная и забавная она, если смотреть и оценивать её с высоты прожитых лет.

Глава 1. Самые, самые мои детские годы. Трудности и преодоления

Я не раз спрашивал свою любимую, покойную маму:

— Это правда, что, когда я появился на свет, то через минуту я открыл один глаз и, как бы прищуривая другой, начал осматривать окружающую обстановку?

Мама сама однажды сообщила мне такую новость. Она говорила это в контексте какого-то разговора, то ли в шутку, то ли с целью приукрасить значение моего появления для нашей последующей жизни. Не знаю, но теперь уже

спросить не у кого.

— Ну, может быть, и не через минуту, а через десять, или через день, не помню я точно этого, — уже более ответственно она отвечала, когда я позже во второй или в пятый раз задавал ей каверзный вопрос.

А мне очень хотелось узнать подробности о моём «любопытстве» в первые минуты своего земного пребывания. Отец тоже не вносил ясности в интересующую меня ситуацию и только загадочно улыбался, приговаривая при этом:

— Да, да! По-моему, ты уже родился с открытыми глазами. Ну, и потом тоже, они у тебя не закрывались никогда. Всё высматривали что-то, выпытывали, запоминали. Да и поступки твои, поэтому были загадочными и необъяснимыми, а приносили они нам немало хлопот.

В общем, как бы то ни было, толком я так ничего и не узнал о начале своего жизненного пути. Но, где-то там, в «закромах» моего серого вещества зародилось и сохранилось убеждение в том, что жизнь — это интересная штука, и надо идти по ней с открытыми глазами. Или, хотя бы, с одним из них.

Были предвоенные годы. Я ещё ничего не понимал, но лёжа в своей «зыбке» — так называлась подвешенная к потолку, качающаяся деревянная коробка-кровать — я видел молодую, красивую маму. Она была очень добрая, ласковая,

счастливая. Но, временами своими, широко раскрытыми, глазами я замечал на её счастливом лице непонятную мне озабоченность и тревогу. Я начинал плакать, высвобождать свои ручки из аккуратно скрученного одеяльца. Однажды, помню, мама наклонилась ко мне, и крупная слеза упала мне на щёчку. Резко дёрнув рукой, я освободился от плена и ладошкой вытер эту слезу. Как большинство детей, я тоже любил всё пробовать на вкус. Мамина слеза оказалась горько-солёной и в чём-то очень значащей. Я всю жизнь потом помнил этот вкус и всегда, в предчувствиях каких-то неприятностей, он ощущался у меня на языке. Много-много лет я не мог объяснить связь своих жизненных неудач или их ожидания с горько-солёным вкусом, и только потом, имея за плечами ворох прожитых лет, я понял источник таких ощущений.

Наверно, мне тогда ещё не было года, но необычайность маминой слезы заставила меня подняться, сесть внутри качнувшейся зыбки и дотянуться ручкой до мокрой полоски на щеке.

— Мама, не плачь, — прошепелявил я эти три слова, или что-то похожее на них.

Молчаливое удивление на несколько минут застыло на родном мамином лице.

— Не плачь, — повторял я, как мне казалось, самые важные и нужные в то время слова.

Наконец, мама ожила, улыбнулась и вытащила меня из тёплого лежбища. Она прижала к себе и начала целовать моё лицо. Я всё помню, и это, кажется, был первый эпизод моей жизни, который сохранился в памяти до самых последних лет.

У родителей был ещё сын Слава, на целых три года старше. Да и до него были ещё дети — два сыночка и дочка. Они в голодные годы тридцатых годов умерли от болезней и голода. Естественно, что их я не могу помнить, а говорю об этом только потому, чтобы представить маму уже опытной, выдавшей вида женщиной.

— Не плачу я, родненький. Это слеза счастья упала на твою щёчку. Отец, иди сюда, послушай, как говорит твой сыночек, — обратилась мама к моему отцу.

Не знаю, с этого момента, или до него, мои любящие родители называли друг друга не по имени, а просто «отец» и «мать». Наверно, им это нравилось и казалось, так лучше всего проявлялась их взаимная любовь. Ну, что ж, пусть будет так, ведь главное не в словах, а в чувствах, которые они отображают.

А я не выдал более ни одного слова, когда мои родители восхищались и просили меня произнести ещё что-нибудь.

Только вот память такая странная штука, что

важные, этапные события через некоторое время стираются, тускнеют, а совершенно незначительный эпизод в моей жизни остался в ней навсегда и, как я теперь понимаю, на уровне подсознания формировал мой характер, поступки и действия.

Сейчас, вспоминая и описывая эпизод моего первого «разговора» с мамой, я пытаюсь осмыслить и пояснить тот печальный или тревожный образ родного лица. Все мои последующие годы жизни, личный опыт, общения, и другая обширная информация позволяют теперь предположить, что в предвоенный год среди народа уже чувствовалось приближение большой беды. Разговоры об этом не велись, но каждый человек по-своему ощущал витающую в воздухе тревогу. Думаю, такой момент я и уловил на лице своей матери и впервые почувствовал, что слёзы даже

родной матери имеют горьковато-солёный вкус.

После этого запомнившегося мне эпизода не случалось в моей жизни ярких событий. Знаю только, что я чувствовал любовь своих родителей и совершенно необъяснимую тягу к старшему брату Славику.

Приближалось лето сорок первого года. Я помню, беспричинно стал плакать, не имея на то никаких оснований. Не могу объяснить такое

тогдашнее поведение, но сейчас чётко понимаю, что был полностью здоров, а слёзы и капризы появлялись без видимых на то оснований.



Папа, мама, Славик и я

Я уже крепко стоял на своих ногах, и настойчиво, но безуспешно пытался догнать или убежать от Славика. Лето было тёплое, и зелёная

травка во дворе придавала детям ощущение всеобщего удовольствия и счастья. Мама позволяла нам с лихвой получать это счастье, хотя сама не принимала в этом участия и всё чаще и чаще оставалась в доме.

Она была беременна и, видимо, чувствовала себя не совсем комфортно. Я не понимал тогда её состояния, но, всё равно, мы с братом чего-то от неё требовали и получали необходимую ласку и заботу.

Грянул июнь сорок первого, который в корне изменил всю нашу жизнь и детство сделал суровым, пасмурным, голодным и безрадостным.

Папа работал на ткацкой фабрике и, не имея специального образования, сумел приобрести профессию красильщика и завоевать авторитет хорошего мастера своего дела. Он в первый же день войны был призван в армию и вместе с другими людьми мужского пола был направлен на фронт. Отдельными штрихами всплывают у меня в памяти события тех дней. Слезы, душераздирающий плач женщин, крики детей и бесшабашные, под гармошку, песни подростков. Всё это создавало в моей детской головке полный хаос и неразбериху.

Больше всего, действовали на моё сознание и поведение беззвучный плач и крупные слёзы на щеках мамы. Она, провожая отца, придерживала руками округлившийся живот, что-то шептала ему, сделав полностью мокрым его лицо. Слов

родителей мы со Славиком не слышали, но понимали, что в эти минуты рушится наш привычный, счастливый мир. А тревога и печаль взрослых прочно входили в наши детские головки.

Несколько дней после отъезда отца в доме стояла гнетущая тишина, и любые неуклюжие детские попытки, хоть что-то, вернуть из прошлого в сегодняшний день заканчивались неудачей и ещё, более убийственной, печалью на родном лице.

Мама несколько дней ходила работать на фабрику, откуда почти всё мужское сообщество ушло на фронт. Но, фабрика должна была работать и выпускать качественное сукно, так необходимое теперь для пошива шинелей, портянок, одеял. Работа была тяжёлая, изнурительная, и организм мамы не выдерживал двенадцатичасового издевательства над собой. Однажды, к концу рабочей смены, ей стало плохо, и она упала возле ткацкого станка. Руководство фабрики разрешило ей больше не выходить на работу и оформить декретный отпуск. Теперь мама была всё время с нами дома. Мы с братом, особенно я — мне исполнилось два годика — были довольны такой переменой в нашей жизни. Но, были в этом и отрицательные моменты. Дело в том, что на фабрике, работающим по двенадцать-четырнадцать часов труженикам, давали на обед нечто съедобное. Я помню сейчас это «нечто», потому, что мама

съедала половину, или даже меньше, такого обеда, а остальное приносила нам — голодным малышам. Это была какая-то перетёртая, полужидкая субстанция, название которой я и теперь я не могу подобрать. Тем не менее, мы с братом всегда набрасывались на недоеденную мамой порцию и с превеликим удовольствием её поглощали.

А теперь, когда мама перестала ходить на работу, исчезла и эта наша радость.

Весной сорок второго года у нас появился братик. Мы, или я буду говорить о себе, не совсем понимали, откуда и зачем появился этот кричащий комочек. Но, он занимал почти всё свободное мамино время, а мы со Славиком потеряли часть её любви и внимания. Сначала нам было обидно от такой потери, но, потом, со временем, видя, как мама хлопочет вокруг появившегося у нас человечка, наша с братом обида и недовольство стали исчезать. Мы чаще стали подходить, смотреть на его любопытное личико и качать, перешедшую к нему по наследству, зыбку.

Трудно сказать, что испытывала тогда мама от появления нового члена семьи: любовь, радость, а может быть, разочарование от неудачного времени для вхождения в этот мир. Малыш был слабеньким, плаксивым и, возможно, чем-то больным. Мама не могла полноценно накормить его, так как и сама всегда была полуголодной, а поэтому малыш —

назвали его Шуриком — часто плакал и медленно набирал вес.

Мне, в два с половиной года, трудно было понять, почему этот человечек постоянно кричит. Но, память моя, обострённая трудностью существования, до сих пор хранит моменты, как жарким, летним днём мы со Славиком гладили его оголившиеся ножки и ручки. Они были тёплые, мягкие и очень тонкие. А у мамы в такие моменты, глядя на нас, глаза почему-то становились влажными и грустными.

Летом мама опять пошла на фабрику, и мы со Славиком остались одни на хозяйстве. Она оставляла нам еду для братика и давала подробную инструкцию, как и когда его надо кормить. Мы и сами должны были чем-то питаться, поэтому дополнительно к крохам, которые оставляла мама для нас, мы использовали дары лета. Щавель, «конёвки» — конский щавель, грибы — луговки и что-то ещё в сыром виде. Всё это прямо с корня шло в наши животы. Мы набивали их так, что чувство голода исчезало, зато появлялось постоянное ощущение боли в животе. Мне долго потом казалось, что бурчание и непрерывная боль — это неременное состояние человеческого организма, без которого никто не обходится.

Когда мы со старшим братом и такими же друзьями — одногодками выходили в поле или на

луг за добычей, за младшим братиком присматривала наша двоюродная сестра Нюра, которая была старше Славика лет на пять и жила по соседству с нами.

Мама уходила часов в шесть утра и приходила только вечером — уставшая, молчаливая, но также любящая и ласковая. Она тут же делила пополам принесённое для нас со Славиком хлебово, и мы с удовольствием, после дневной зелёной диеты, вмиг поглощали его. А вот с Шуриком у неё возни было гораздо больше. Молока, как я теперь понимаю, у неё не было, или почти не было, и она умудрялась что-то для него сделать. Но, это «что-то», видимо, ему не очень нравилось, и он выплёвывал его, сопровождая это действие очередным повышением громкости плача. Мама уговаривала его, снова давала ему отведать приготовленную еду, но успехов не всегда добивалась.

Сейчас я вспоминаю эти процедуры, удивляюсь и восхищаюсь терпением матери, её изобретательностью. Она, уставшая до изнеможения на работе, изготавливая тёплые солдатские портянки, которые, может быть, по счастливой случайности, достанутся и её мужу, нашему отцу, умела ещё и нас, троих малышей, приласкать и как-то накормить.

А завтра в пять утра надо вставать, чтобы снова повторить прошедший тяжёлый день.

Оставаясь дома вдвоём, мы — два малолетних «няня», не зная ещё ничего о детском воспитании, пытались разговаривать с Шуриком. А он, пялив на нас свои бессмысленные глазки, наверное, думал: «Оставьте меня в покое». Или ничего не думал, просто смотрел на нас и хотел кушать и пить, пить и кушать. Мы давали ему бутылочку с какой-то жижей, которую он не полюбил с «самого глубокого» детства.

Время шло, наступила осень, и зелёная полевая подкормка исчезла из нашего рациона. Живот стал болеть меньше, зато голодное журчанье, как музыкальное сопровождение, постоянно напоминало нам о том, что жизнь продолжается и надо терпеть и ждать.

Ножки и ручки у нашего Шурика не становились толще, и мы, по крайней мере я, не испытывали по этому поводу беспокойства. Плакать он стал меньше, видимо понимая, что плачем от нас ничего не добьёшься. Это я сейчас, на склоне лет так шучу, а тогда каждый из нас жил той жизнью, которая нам досталась.

Ближе к зиме мама пыталась научить Шурика, если не стоять на ножках, то хотя бы сидеть на диване. Она обкладывала его со всех сторон подушками, надеясь на то, что так окрепнет его спинка и шейка, и он постепенно сам сможет садиться. Но успехов не было. Как сейчас, помню,

мы повторяли процедуру укрепления позвоночника обкладыванием подушками, но через некоторое время Шурик умудрялся раздвинуть все ограничения. Он падал на диван боком или носом в подушку. Нам со Славиком стоило большого труда и внимания, чтобы не потерять бдительность, сразу поднять его и не дать задохнуться в подушках.

Когда наш отец был дома, мы жили, как все рабочие семьи — не бедно и не богато. Всё, самое необходимое в доме было — и надеть, и поесть. А теперь, в тот единственный выходной день в воскресенье, когда маме надо было набраться сил и заняться детьми, она что-то собирала в узелок и с другими женщинами шла в ближайšie деревни, чтобы это «что-то» поменять на еду. Она приносила немного муки, какой-то крупы, чаще всего пшеница и, если удавалось, кусочек сала. К вечеру она возвращалась усталая, но довольная. Обнимая нас, она всегда в таких случаях говорила:

— Вот теперь мы заживём, отъедемся.

При этих словах у нас почему-то наполнялся рот слюнной, и мы радостно предвкушали будущее «отъедание».

Надо ещё сказать, что жили мы в частном доме, и у нас был огород. Не знаю, когда и как, может быть, с помощью Нюры, мама умудрялась в огороде что-то посадить: немного картошки, свёклы, капусты, тыквы. Одним словом, не богатые,